

БИОГРАФИЯ СТАРОВЕРА-СТРАННИКА: ПРОБЛЕМЫ РЕКОНСТРУКЦИИ

Рассматриваются информационные возможности уголовно-следственной документации для реконструкции старообрядческих биографий и предлагаются исследовательские процедуры, с помощью которых устанавливается зависимость между персональной историей староверов-странников XVIII–XIX вв. и современной им действительностью.

Фокус человеческой субъективности признается сегодня наиболее эффективным средством изучения не только индивидуального рационального выбора или самоидентификации, но и поведенческих, ментальных программ микро- и макросообществ. Современное биографическое исследование все дальше удаляется от «классики жанра» времен Плутарха и больше демонстрирует стремление через уникальность человеческой жизни увидеть многоуровневое социальное пространство и те возможности, которыми располагает индивид в рамках данного культурно-исторического контекста [1. С. 15–16]. Вместе с тем разработка вопроса о релевантности отдельно взятой биографии социальной системе, начатая Чикагской социологической школой в 20-е гг. XX в. (В. Томас и Ф. Знанецки), не завершена ни в теоретическом, ни в методическом плане.

Балансирование биографического нарратива между жанром историописания и его методом по-прежнему дает аргументы для сомнений в приобретении им в последней четверти XX в. нового содержания. Действительно, одно лишь помещение его в контекст рассуждений о лично-ориентированной гуманитаристике, безусловно, не позволяет считать преодоленными позитивистскую и дидактическую традиции презентации личности. Это закономерно. Биографические исследования не существуют в вакууме и наравне с другими интеллектуальными течениями испытывают все методологические и фактографические сложности, с которыми сейчас сталкивается ретроспективная реконструкция в целом.

В частности, из программных работ исчезла жесткая установка 1980-х гг. на реализацию комплексной программы, призванной показать единство всей полноты внутреннего мира человека и социокультурной ситуации/среды, по отношению к которой описываемая жизнь будет приобретать значение истории и при этом сохранит черты уникальности, событийности и самоосуществления [2, 3]. Сегодняшние подходы менее масштабны по своим задачам. Так, Л.П. Репина, анализируя современное состояние биографических исследований, говорит о синтезе такого свойства как о желательном, но не всегда реализуемом, и предлагает идти по пути поиска медианного варианта между двумя версиями *personal history* – социальной и экзистенциальной, замечая при этом, что обе гносеологические стратегии – акцентирование внимания на взаимосвязи социокультурного и лично-психологического аспектов в первом случае и приоритет психологических характеристик во втором – ограничены объективными возможностями исторического источника [1. С. 12–16].

В источниковедческом плане идеальным является наличие эгодокументов, с наибольшей полнотой фиксирующих индивидуальный опыт. Их физическое от-

сутствие способно разрушить или дискредитировать саму идею биографического исследования, поскольку, в сущности, перечеркивает такие его нормативы, как представление жизни индивида целиком, во взаимосвязи с историей общества и с учетом интерпретационной активности акторов повседневности [4. С. 5–10]. Несложно заметить, что с точки зрения «источниковой полноты» только две репрезентативные программы удовлетворяют всем требованиям и могут служить примером «правильного» историко-биографического исследования – это «жизненные истории» известных людей, фундированные персональными архивными фондами, их трудами, мемуарами и пр., или современников, полученные с помощью качественных методов (интервью).

Поэтому мысль о том, что биографии ничем не знаменитых людей прошлого, достоверность крайне отрывочных сведений о которых невозможно проверить и увеличить количественно, требуют особого подхода, сейчас озвучивается всеми исследователями, работающими в области микроистории. В отечественной традиции для преодоления этих препятствий, во-первых, апробирована модель казуса как частной модуляции общих процессов [5. С. 16–26; 6]; во-вторых, поставлена задача максимально интенсивного, междисциплинарного анализа «индивидуального сознания и поведения отдельных представителей элитных групп, которые имели гораздо больше шансов “высказаться” в источниках» для проведения в дальнейшем сопоставительных процедур» [7. С. 60–61, 66].

Изучение в таком контексте жизненных стратегий староверов XVIII–XIX вв. требует специального рассмотрения источниковой базы, которая как раз позволяет определять области, перспективы и границы эффективного применения биографических реконструкций.

В свое время Ю.М. Лотман, размышляя о судьбах литературной биографии, достаточно резко высказался о том, что «за словами “отсутствие источников” часто кроется наше неумение их искать, лень ума и приверженность к привычному кругу текстов» [3. С. 228]. Возможно. Хотя история включения староверия в современную ему социальную действительность во многом сама диктует не только вероятные группы источников, но и пиететное отношение к позитивистской традиции, настаивающей на определении их необходимого и достаточного числа для исследования, а priori вынужденного довольствоваться информационными «осколками» прошлого.

Это особенно актуально при изучении страннического (бегунского) согласия – самого малоизученного из направлений староверия. Течение идейно и организационно оформилось в 80-е гг. XVIII в., и доминантой его вероучения стал тезис о необходимости побега из царства победившего антихриста [8]. Разрыв связей с

«никонианским миром» для членов согласия сопровождается переименованием (сменой имени) и переходом на нелегальное положение. Эти особенности конфессиональной практики объясняют, почему к настоящему моменту исследователям удалось воссоздать в относительной полноте лишь биографии наиболее крупных лидеров согласия XVIII–XIX вв. – инока Евфимия, Н.С. Киселева [8. С. 79–156; 9. С. 73–81]. Исключением из правила может считаться только уникальная по целостности и полноте реконструкция Н.Н. Покровского жизненной истории Владимира Трегубова – руководителя одной из небольших страннических общин на Алтае. Но и она обязана счастливому стечению обстоятельств – материалы уголовного дела об антимоноархическом выступлении оренбургских казаков в 1854 г., в котором В. Трегубов принял участие, были дополнены находкой во время археографической экспедиции автобиографической «Повести» [10]. В подавляющем же большинстве случаев «персональные истории» староверов-странников носят преимущественно просопографический характер, что создает дополнительные трудности при накоплении материалов и их последующем анализе.

Проиллюстрируем сказанное. В 1842 г. Иван Ипатов – один из известных идеологов старообрядцев страннического согласия был арестован «на дороге» и доставлен в Барнаульский земский суд. Эти сведения, приведенные Д.Н. Беликовым [11. С. 24], сегодня перепроверить нельзя – уголовное дело безвозвратно утрачено. Отсюда вопрос – как из текста, составленного канцеляристом и по правилам делопроизводства своего времени, впоследствии пересказанным исследователем, извлечь то, что на самом деле рассказал о себе на допросе старовер? Проблема в данном случае заключается, конечно, не столько и не только в степени доверия к тому или иному исследователю. Изначально действующее в такой ситуации правило двойной (тройной) рефлексии уже само по себе несет объективные погрешности при передаче информации. Проблема заключается в том, что при использовании материалов уголовных дел, которые как раз и являются основным источником для исследования биографий рядовых староверов-странников, необходимо учитывать, как минимум, три момента: порядок рассмотрения дел по обвинению в оскорблении верховной власти, обычную практику ведения протокольной документации в ходе расследования и, наконец, взгляды старообрядческих теоретиков касательно «исповедания веры перед еретиками».

Начнем с последнего. Идею завещание основателя согласия инока Евфимия основывается на апостольских правилах, что уже само по себе является знаковым для установления духовной ориентации странничества. Известный под этим названием свод преданий и обычаев, приобретший церковно-юридический характер со времени VI Вселенского собора (680–681 гг.), в старообрядчестве стал компе́ндиумом правильных форм мироустройства. Так, на основе 62-го правила («о отвержении имени христианского») инок Евфимий предлагает строить отношения с еретиками, в том числе с государственной властью, «егда они пред православными имут правду Божию хуловати, а свою лжу про-

славляти, тогда несть удобно верным молчати» [12. С. 189]. Естественно, что с точки зрения законодательства религиозная норма квалифицировалась как покушение на общественные устои.

На протяжении XVII–XVIII вв. произнесение «непристойных речей» в адрес государя входило в группу преступлений по «слову и делу государеву» и в качестве таковых предусматривало особый порядок ведения дел и максимально суровые приговоры. Первая попытка либеральной реформы в этой области предпринята Александром I. Он указом от 17 января 1802 г. перевел расследование и решение дел об оскорблении императорской чести в общий регламент уголовного судопроизводства, но с оговоркой – о таких делах еще до исполнения приговора, во избежание недоразумений и для ограничения служебного рвения местных властей, следовало доносить в Сенат и императору [13. С. 383]. Последующие царствования все возвратили на «круги своя». Серией циркулярных предписаний МВД усиливался контроль за ходом следствия по делам «о произнесении дерзких и оскорбительных слов противу высочайших особ императорской фамилии».

Например, 2 января 1862 г. начальники губерний получили инструкцию по проведению допросов староверов. Она требовала от полицейских чиновников не провоцировать самим подобных высказываний, объясняя это тем, что соответствующие «выражения и слова» являются «естественным результатом еретических верований и фантастических заблуждений» старообрядцев, а вопросы только «побуждают к обнаружению своих зловерных убеждений». Следователям предписывалось «ограничиваться приведением в известность, к какой секте принадлежат допрашиваемые, отнюдь не предлагая им вопросов, касающихся самого существа их учения, в особенности же мнений их о Государе Императоре» [14. Л. 5]. Кроме того, снова начальникам губерний вменялось в обязанность еще до проведения следствия информировать о подобных преступлениях III Отделение, которое определяло степень их политической опасности и меру наказания. Поэтому, как считает И.В. Побережников, либеральные тенденции второй половины XVIII–XIX вв. лишили дела об оскорблении императорской фамилии прежней таинственности и политической сверхзначимости, но не исключительности [13. С. 383–384, 390]. Отсюда понятно, что информативность протоколов допросов староверов не идет ни в какое сравнение, например, с документацией европейской инквизиции, которой вменялось в обязанность точная фиксация слов и даже интонаций обвиняемого. В связи с этим представляется небезынтересным сравнение двух текстов-ситуаций, помогающее обнаружить, что словоохотливость арестантов, форма и содержание их показаний, дерзкое или, напротив, почтительное поведение далеко не всегда отражаются истинным образом и однозначно.

Так, медицинское освидетельствование Ивана Ипатова (60 лет, умственно нормален, спина в рубцах и на лице следы штемпелеванных знаков) становится важнейшим дополнением к его вербальным ответам – о проведении большей части своей сознательной жизни в скитах, о принадлежности к церкви, которая не имеет крова («окружена только верою и любовью к Господу»),

о ложности писанных «табачниками и бритоусами» икон и царе – «змие седмиглавом и антихристе» [11. С. 24]. Пересказ Д.Н. Беликова позволяет уяснить существо взглядов старовера, но не оставляет даже намека на ход следствия – при каких обстоятельствах произошел арест, скрывал ли он сначала свое имя, вероисповедание и авторство изъятых у него «Цветника»; если да, то когда и в какой форме сделаны признания.

Странники, оказавшиеся в 1864 г. в каргопольской тюрьме, пытавшиеся подкупить охранников и бежать, на первый взгляд и судя по тексту протокола допроса, ведут себя крайне независимо. Их «анкетные данные» выглядят следующим образом: «родился в той стране, где был Адам, фамилия моя христианин, другой фамилии не имею»; «я житель вышнего града Иерусалима, лет моих не скажу – царевым врагам не подобает говорить правду»; «родители мои первый Бог, а второй – духовный отец, а хотя и был у меня отец по плоти, но он был неверный и потому он недостойн названия отца и я отрекаюсь от него». Более того, на вопрос о том, почему заключенные, войдя в комнату, не снимают шляпы, не остаются стоять, а усаживаются на стул, следователи получили разъяснения: «Я сделал это потому, что не считаю вас начальниками... мне говорить с вами не подобает, потому что во многоглаголании нет спасения. Имел я намерение к подкопу или нет, об этом знать вам не нужно. Я раньше объяснил уже в том полицейском управлении. И для чего еще повторять вам? Это выйдет одно празднословие. Довольно вам знать, что подкоп начат до нас – стамеску, нож и брус послал нам Бог, и я не могу знать, откуда взялись эти вещи. Подписать это показание я не согласен, да и нечего подписывать, потому что я ожидаю не вашего суда, а Божия» [15. Л. 28–29 об.]. Не трудно заметить, что эпатаж арестованных не идет дальше неподчинения мелким провинциальным чиновникам. Затрагивалась ли в их ответах священная императорская особа и была ли нужда в соответствии с предписаниями принимать решение о занесении в протокол «непристойных речей» – тоже остается неизвестным.

Следует отметить, что группа дел, привлекаемая И.В. Побережниковым, позволила ему говорить о неоформленных и эфемерных антимоноархических настроениях в сознании податного населения второй половины XIX в. [13]. К выводу о том, что народные взгляды на русских самодержцев в этот период достаточно быстро отдалялись от безоговорочного почитания, пришел А.В. Буганов: абстрактный мифологизированный образ царя сохранялся в фольклоре, но в реальной жизни верховный носитель власти уже оценивался взвешенно и порой критически [16. С. 122]. Поэтому далеко не всегда характер «крамолы», обнаружившей себя на допросах – имела ли она эсхатологическую подоплеку либо отражала означенные трансформации, устанавливается со всей определенностью.

Есть еще один аспект при рассмотрении содержательной стороны судебного-следственных материалов. Понятно, что их происхождение связано с деятельностью и мировоззрением людей, причастных к доминирующей, официальной культуре; отсюда вопросы – способен ли понятийный аппарат и лексический инструментарий уголовного дела отразить представления

арестантов и существует ли нестыковка между вопросами обвинителей и ответами обвиняемых? Это исключительно важно при выяснении информационного потенциала уголовного дела и наиболее явно их правомерность показывают допросы детей, находившихся в тюрьмах вместе с родителями. Сложно представить, что семилетний арестант мог ясно и четко сформулировать (как это отразил протокол его допроса), что он «православный, но на исповеди и у причастия не был, поскольку находился с отцом, который скрывался в разных местах» и «кто здесь странники не знает положительно». Пожалуй, лишь в двух моментах в зафиксированных якобы его показаний виден ребенок: о местах, где он жил во время странствования с родителями – «я сказать не умею» и своих желаниях – «жду из деревни дедушку, поеду к нему жить» [17. Л. 40–40 об.].

Вероятно, протоколы допросов могут быть поняты как специфическая форма эгодокумента и искажения минимизированы лишь в том случае, если в руках правосудия оказалась конфессиональная группа либо в деле присутствуют несколько письменных свидетельств о допросах одного человека, но сделанных в разное время и разными лицами. Только тогда постоянство и степень согласованности изложения одного и того же события будут свидетельствовать в пользу его надежности и достоверности. В любом случае эти аспекты должны оговариваться исследователем, привлекающим материалы уголовных дел для восстановления экзистенциальной либо социальной биографии личности.

Следовательно, в силу «источниковедческой специфики» современные аналитические матрицы биографической истории не могут быть в отношении староверов-странников задействованы в полной мере. В частности, модель исследовательских процедур, разработанная Л.П. Репиной, об эффективности которой свидетельствует ее многоступенчатый характер и установка на обнаружение максимального числа системных зависимостей между индивидуальным и социальным [18. С. 94–95], остается по ряду позиций невыполнимой.

Например, предполагаемое в ее рамках обращение к сюжетам «психологической предрасположенности к определенному образу действий, степени здравого смысла и практической интуиции», равно как и детализированное описание индивидуальной деятельности, включая «конкретный процесс принятия и реализации решения», к сожалению, в нашем случае остается «за кадром». Поэтому из всего пакета предписаний можно говорить о более или менее полном представлении ординарной/неординарной ситуации, доминанте корпоративных интересов и ожиданий, обеспечивающих направление в отборе и освоении культурных и поведенческих норм, а также структурных ментальных и социальных изменениях, которые несет в себе новая жизненная практика. Оговорим, что здесь речь идет лишь о некотором приближении к типу «модальной биографии» в понимании итальянского исследователя Джованни Леви, когда получаемое в результате представление о типичных формах поведения может стать основанием для последующего выявления среднестатистических зависимостей [19. С. 196–197], но опять же – *некотором* – в силу ограниченных и специфиче-

ских информационных возможностей уголовно-процессуальных материалов.

В нашем случае интегральная модель, в рамках которой биографический метод отвечает задаче обнаружения фактов взаимодополнительности индивидуальных, системно-структурных и социокультурных перспектив и становится продуктивным для выяснения жизненной траектории старовера-странника, будет включать в себя следующие блоки значений: социальные институты, сложившиеся к данному моменту времени в конкретном регионе, выступающие условиями для развертывания цепи исторических событий; «биографически детерминированная ситуация» – физическое и социокультурное окружение человека, в котором он занимает определенную статусно-ролевую и морально-идеологическую позицию, ставит долгосрочные и краткосрочные цели, осознает возможности своей практической и интеллектуальной деятельности и

соотносит их с поступками и мыслями других людей [20. С. 12–13]; представления о правильном и неправильном поведении в обстановке роста или снижения эсхатологических настроений, диктуемые авторитетным конфессиональным текстом и социальным опытом группы; человек в экстремальной ситуации, актуализирующей выбор оптимального поведения, в плане как физического выживания, так и сохранения конфессиональных ценностей.

Представляется, что материалы уголовно-следственных дел только при таком подходе имеют возможность служить репрезентативным источником, конечно, не для восстановления во всей полноте биографий староверов, но для решения вопросов, связанных с социальной основой того или иного направления старообрядчества, с механизмами включения человека и группы в орбиту эсхатологической парадигмы и факторами конфессиональной мотивации.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Ретина Л.П.* Личность и общество, или история в биографиях (Вместо предисловия) // История через личность. Историческая биография сегодня. М., 2005.
2. *Соловьев Э.Ю.* Биографический анализ как вид историко-философского исследования // Вопросы философии. 1981. № 7. С. 115–128; № 9. С. 132–148.
3. *Лотман Ю.М.* Биография – живое лицо // Новый мир. 1985. № 2. С. 228–236.
4. *Мещеркина Е.Ю.* Введение // Биографический метод в социологии: история, методология, практика. М., 1994.
5. *Бессмертный Ю.Л.* Метод // Человек в мире чувств. Очерки по истории частной жизни в Европе и некоторых странах Азии до начала Нового времени. М., 2000.
6. *Казус: индивидуальное и уникальное в истории.* М., 1996–2004. Вып. 1–6.
7. *Ретина Л.П.* От «истории одной жизни» к «персональной истории» // История через личность. Историческая биография сегодня. М., 2005.
8. *Мальцев А.И.* Староверы-странники в XVIII – первой половине XIX в. Новосибирск, 1996.
9. *Пятницкий И.К.* Секта странников и ее значение в расколе. Сергиев Посад, 1906.
10. *Покровский Н.Н.* Биография оренбургского казака // Исследования по истории общественного сознания эпохи феодализма в России. Новосибирск, 1984. С. 103–130.
11. *Беликов Д.Н.* Томский раскол (Исторический очерк от 1834 по 1880-е годы). Томск, 1901.
12. *Сочинения инока Евфимия (тексты и комментарии)* / Сост., подготовка текстов, предисл., коммент., прил. А.И. Мальцева. Новосибирск, 2003.
13. *Побережников И.В.* Дела об оскорблении императорской фамилии (Сибирь, вторая половина XIX века) // Проблемы истории, русской книжности, культуры и общественного сознания. Новосибирск, 2000.
14. ГАТО. Ф. 3. Оп. 19. Д. 595.
15. РГАДА. Ф. 1431. Оп. 1. Д. 1979.
16. *Буганов А.В.* Личности и события истории в памяти русских крестьян XIX – начала XX в. // Вопросы истории. 2005. № 12.
17. РГАДА. Ф. 1431. Оп. 1. Д. 1325.
18. *Ретина Л.П.* «Персональная история»: биография как средство исторического познания // Казус: индивидуальное и уникальное в истории. М., 1999. Вып. 2.
19. *Леви Дж.* Биография и история // Современные методы преподавания новейшей истории. М., 1996.
20. *Шюц А.* Избранное: Мир, светящийся смыслом. М., 2004.

Статья представлена научной редакцией «История» 9 января 2007 г.